ШУМ ДОЖДЯ



СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

18+

АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВ

Александр Трофимов

Шум дождя

https://litres.ru/74924243
SelfPub; 2026

Аннотация

"Чтобы увидеть свет, мне надо сделать себе больно"

Единственное, что Алексей видел за восемнадцать лет, искры от давления на веки.

Повесть о мире без единой картинки, о любви, которая начинается на ощупь, и о том, что свет можно украсть, а можно его и вернуть. Но вернуть свет, не всегда значит его увидеть.

Содержание

Пролог 5
Часть первая 7
1. Мамин 7
2. Папин 10
3. Бабушкин 12
4. Ивановка 14
5. Иголки 17
6. Катя 19
7. Жесть 21
8. Доска с гвоздями 23
Часть вторая 25
9. Коридор 25
10. Двенадцать точек капитана Барбье 28
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Александр Трофимов
Шум дождя

ШУМ ДОЖДЯ
повесть

Исаия 42:16
- И поведу слепых дорогою, которой они не знают,
неизвестными путями буду вести их;
мрак сделаю светом пред ними, и
кривые пути - прямыми:
вот что я сделаю для них
и не оставлю их.

Пролог

Чтобы увидеть свет, мне надо сделать себе больно.

Я ставлю костяшки больших пальцев на веки и давлю. Сначала ничего не происходит: тёплая темнота, которая со мной всегда. Я её не замечаю, как вы не замечаете язык у себя во рту. Потом глазное яблоко уходит глубже, в глазнице что-то тихо поскрипывает, как снег под валенком в мороз, и там, за болью, начинают сыпаться искры. Врачи называют их фосфенами. Мама называла это «опять». Нина Аркадьевна в интернате била линейкой по запястью: «Сомов, руки от глаз. Без глаз останешься».

Смешно. Глаз у меня не было никогда, в том смысле, в каком они есть у неё. Но она имела в виду другое. От давления глаза проваливаются. У тех, кто давит с детства, к восемнадцати годам лицо как у старика: под бровями ямы. У меня такие ямы. Я трогал.

Искры - единственное, что я видел за восемнадцать лет. Какого они цвета, я не знаю. Вера сказала, что по описанию похоже на салют. Салют я знаю. Сначала в грудь толкает воздух, потом с крыш долго осыпается треск, и пахнет как от спичек, только сыро.

Вера увидела меня в четверг, двадцать второго октября. Шёл дождь.

Я понял, что она видит, раньше, чем она сказала. Она пе-

рестала поворачивать голову на мой голос. Зрячие не поворачиваются к звуку. Они уже знают, где ты стоишь.

Она долго молчала. Я слышал, как она сглатывает. Потом сказала:

- У тебя веснушки.

Мне восемнадцать лет, и я впервые узнал, что у меня веснушки. Я провёл ладонью по щеке.

Начало своей жизни я не помню. Мне его пересказывали трижды, и каждый раз по-другому. Четвёртый пересказ я услышал позавчера.

Часть первая

1. Мамин

Я родился в апреле 2008 года в Кряжиме. Город стоит на Волге там, где Приволжская возвышенность подходит к воде вплотную и дальше не пускает, кряж, отсюда и имя. Сорок тысяч жителей, пристань, к которой по субботам прижимается «Метеор», и нефтеперерабатывающий завод. Факела я не видел, но он гудит над городом низко и ровно, как идущий на посадку самолёт. Когда ветер с востока, в нашей квартире на Нефтяников пахнет как дедовом гараже: мазутом и тухлыми яйцами. Мама говорит, так пахнет сероводород. Мне засыпается лучше всего, когда пахнет сероводородом. Для меня это означает, что я дома.

Мамин пересказ моего появления на свет самый мой любимый. Она рассказывает его, и чистит картошку, и нож ни разу не сбивается с ритма. Шкруп-шкруп, и длинная шкурка падает звонко в таз.

- В два месяца ты улыбался, и как-то все время в сторону. Я наклонюсь молча, ты лежишь, глаза открыты, а лицо ничего не выражает. Глаза плавали у тебя, как хлопья в тарелке с молоком, ты же понимаешь, как они плавают... Есть слово «нистагм» я тогда не знала, что это и что такое слово есть

вообще…

Шкруп.

Участковая врачиха мне сказала, что мальчики отстают в развитии. Окулист в поликлинике капнула что-то жгучее и ты поморщился, и она посветив в зрачок фонариком, сообщила, что дно чистое.

- Зрение созревает, мамочка. Не накручивайте, - так эта овца сказала. - Я и не накручивала, пошла в «Хозтовары» и купила фонарик на двух батарейках. Как сейчас помню, в кошельке сто пятьдесят рублей, а фонарик сто сорок стоил. Пришли домой, свечу тебе в лицо, а у тебя зрачок то сужался, хоть и нехотя и с опозданием, то расширялся. А в полгода, где-то, ты стал вдавливать кулачки в глаза.

Нож остановился на полсекунды.

- Я руки отвожу, ты орать тут же начинаешь. Отпущу, ты опять давишь и улыбаешься. Я ведь думала, у тебя болит там. А тебе там было хорошо. Там у тебя кино показывали.

Дальше мама рассказывала, как в семь месяцев нас положили в областную больницу. Мне налепили на лоб и под глаза холодные липкие кружки и стали бить в глаза вспышками. Электроретинограмма: сетчатка здорового ребёнка отвечает на вспышку током, и на экране вскакивает волна. Мама стояла за спиной врача. Линия шла ровно – ровно.

Врачиха была добрая и неглупая. Мама на этом настаивает. После осмотра она сняла очки, проморгалась, потёрла переносицу:

- Врождённый амавроз Лебера. Сетчатка не работает. То есть формально, для зрения у него все сформировалось, палочки и колбочки у него все это есть, а вот свет они не ловят. И это генетика, понимаете, лечения пока нет. Вы еще молодая, родите ещё. А если тяжело, существует специализированный дом ребёнка. Уход там хороший. Никто вас не осудит, поверьте.

Мама тогда ничего не ответила. Отодрала от меня кружки и вышла в коридор, завернув меня в одеяло. Перед лестничной клеткой у сумки оторвалась одна лямка. Сумка запрокинулась, и из неё выкатились бутылочка с кашей и фонарик. Фонарик укатился под банкетку.

- Я его там и оставила, - говорит мама. Шкруп. - Зачем он мне теперь был нужен.

Здесь её рассказ кончается. Нож стучит о край кастрюли, картошка булькает в воду. Про то, что было вечером этого, мама не рассказывала восемнадцать лет.

2. Папин

Папа рассказал мне историю эту единожды. Мне было одиннадцать, я приехал из интерната на зимние каникулы, а он из Москвы, где четвёртый год крыл крыши с бригадой из Чебоксар. От него пахло поездом и насморком. Мама ушла в ночную смену, сестренка Катя спала. Мы сидели на кухне. Он наливал себе из бутылки, и по звуку я определял, сколько там осталось. Полная бутылка булькает низко и долго. К концу звук становится выше и короче, напоминающий икоту.

- Я тебе всю дорогу, пока из больнички ехали, фонариком светил, - сказал папа. - В автобусе, от области. Четыре часа. Телефон у меня был «Нокиа», с фонариком, короче. Включу, поднесу, и ты жмуришься. Я ей: Тань, жмурится! Видит же! А она в окно смотрит и ревет. Я, короче, опять, включаю. Мужик еще сзади развонялся, сука, выключи, людям спать мешаешь. А я такой думаю, щас как развернусь, да как дам тебе, сука… Вот, короче… Батарея села возле Тольятти… - Я услышал булькающие звуки. - А Жмурился ты, Лёшк, от тепла. От тепла, блять, понимаешь. - Он кашлянул. - Это мне уже врач потом пояснил. Фонарик, короче, греет, и ты тепло чуял, ну как котёнок… - Голос отца начал захлебываться. - А я, дурак, четыре часа, короче, радовался.

Стакан снова стукнул о зубы.

- Я ведь думал, врачи дураки или ошиблись, знаешь, они

часто ошибаются, очень часто. А они не дураки, эти врачи оказались, и не ошиблись. Это у меня, Лёшк в крови херня какая-то у меня, как-то так короче.

Я в тот момент не понимал, про что он говорил. Я спросил, можно ли мне колы. Он сказал «можно» и не налил. Я подождал. Потом я услышал, что он уснул, положив голову на клеёнку, и дыхание его шло в стол и возвращалось мне в лицо, спиртуозным едким запахом. Я нашарил в холодильнике бутылку, налил себе сам, опустив палец в стакане, как меня учили, и пил мелкими глотками, чтобы его не разбудить. Кола оказалась маминым квасом для окрошки. Я выпил всю бутылку.

3. Бабушкин

Баба Зина, папина мать, рассказывала про меня всем, кто ее соглашался слушать. Соседкам на лавочке. Тёткам на поминках. Мне в девять лет, потому что не понимала, что я слышу из соседней комнаты. Я ведь был не глухой. Многие зрячие думают, что инвалид по зрению и слышит плохо, такое, конечно тоже бывает.

- Яблочко от яблоньки, - говорила она. - Я правду сказала, Господи прости. У нас в роду слепых отродясь не бывало. А у этих в деревне и дед пьющий, и мать её, Валька, в молодости покуривала. А сама-то в беременность на кассе сидела, а там же излучение. Вот так вот.

Баба Зина считала, что виноват сканер в «Пятёрочке», и защищала эту версию с редкостным упорством.

- Сколько волка ни корми... Я, ведь, Татьяне прямо тогда сказала, не за того замуж пошла, не доглядела, кто у него родственнички, а теперь внук ихний отвечает за их раздолбайную жизнь, и грехи, да еще и сканер этот.

Мама тогда взяла кастрюлю с борщом и вылила в раковину, аккуратно, постучав половником по дну, чтобы вышла вся свёкла, потом кастрюля громко лязгула о посуду, одела меня и мы с ней уехали на последнем автобусе в Ивановку к своей матери. Папа тогда с дивана даже не встал.

- Борщ-то на мозговой косточке был, - жаловалась баба

Зина соседке. - Я её у мясника три дня выжидала, совсем озверела.

Запах тёплой капусты и свёклы вызывает у меня тошноту до сих пор. Борщ я не ем. В интернате его давали по средам, и по средам я оставался без первого.

4. Ивановка

Первые три года я жил в основном у бабушки Вали, маминой матери, в Ивановке, в тридцати километрах от Кряжима. Мама тогда много работала, а бабушка Валя любила говорить «ить» и «давеча» и считала, что ребёнку нужно общение с природой, свежий воздух, корова, например, а не врачи. И корова и все остальное у бабы Вали имелось.

Корову звали Майка. Я знал бок Майки раньше, чем, наверное, само слово «бок»: горячий и жёсткий, с дрожью по шкуре там, где садились мухи. Под ладонью он вздымался, внутри урчало, как в батареях зимой. Бабушка сажала меня на скамеечку, когда доила, и я слушал как сначала струя бьёт в пустое ведро, звонко, потом всё глуше, уже в молоко.

- Ну-ка, сколь?

- Половина.

- Ить угадал! Ну просто глаз-алмаз.

При мне она никогда не говорила «слепой». Она говорила «глаз-алмаз», и я долго считал, что алмаз - это такая штука, которая сама ничего не видит, зато всё умеет угадывать.

Мир для меня делился на то, что можно взять в руки, и то, что нельзя. Курицу было можно: перья, тепло, а под перьями неожиданно худое тельце, будто внутри прячется другая курица, поменьше. Под несушкой лежало яйцо, горячее, как только что сваренное. Печь была, ее тоже можно потрогать

было, но осторожно, можно было и обжечься. А вот колодец было нельзя трогать, из него пахло холодом и железом, и бабушка один раз так закричала, когда я подошёл к срубу, что я потом долго еще обходил это место по шагам. Петуха было нельзя тоже, но по другим причинам, звали его Гришка, и он меня однажды клюнул прямо в ухо.

Самым непонятным для меня было небо.

- Дождь идёт с неба, - говорила бабушка.

- А где это небо находится?

Она поднимала мою руку вверх. Там было пусто, иногда тепло, иногда ветер. Как дождь может идти из пустоты, я не понимал. Однажды спросил, горячая ли луна, раз она светит, как печка.

Бабушка Валя смеялась долго, до слёз, потом вытерла лицо подолом.

- Холодная, ить, луна. Свет у неё краденый.

Я тогда не понял. Но запомнил, что свет можно украсть.

По вечерам она рассказывала мне про Стеньку Разина. Он, по её словам, закопал в Жигулях казну и еще туда же убитую им персидскую княжну, и до сих пор в Жигулёвских горах ходят с лопатами «клакеры», как она говорила: то ли кладоискатели, то ли придурки. Я слушал про княжну, которой ни разу не видел, и думал, что убить женщину хуже, чем потерять какой-то сундук. Бабушка говорила,

- Хуже, ить, конечно, хуже, Лешка.

А вот что такое «далёко» я узнал по звуку поезда. Вече-

ром из-за реки когда шёл товарняк, как его называла бабушка, гудок сначала был тонкий, будто кто-то дует в бутылку, потом рос, рос, уходил вбок, и стук ещё долго тянулся, всё тише, пока не умолкал совсем. Тогда я понял, что мир кончается не там, где кончается моя рука. Он кончается там, где кончается звук. А звук кончается очень далеко.

Мне было три, и это было самое страшное открытие в жизни. Я тогда заплакал, потому что в мир оказался слишком большим, а я не мог его потрогать.

Бабушка Валя пришла, села на край кровати. Положила мою ладонь себе на лицо, на щёку, мягкую и морщинистую.

- Вот, - сказала она. - Это тоже мир. И он тут. А побольше тебе пока ничего и не надо. Вот вырастишь, все потрогаешь.

5. Иголки

Из детства я еще хорошо помню уколы.

Препарат назывался «ретиналамин». Вытяжка из сетчатки телят. Я думал, что мне колют телячьи глаза, и боялся, что начну видеть, как телёнок. Как видит человек, я не знал, и как видит телёнок, тем более. Но я знал бок Майки и представлял, что таким станет мир: горячим и вздрагивающим.

Укол делали парабульбарно, то есть в нижний край глазницы, прямо под глазное яблоко. Десять дней подряд, два раза в год. Две медсестры держали мою голову, и от одной пахло сигаретами и мятной жвачкой, а от другой особенно ничем, и та, что ничем, держала сильнее и грубее. Игла входила медленно и еще медленнее вводилось лекарство. Боль шла в затылок и даже в зубы отдавало, а в животе всё сжималось. Потом мне прижимали к веку ватку, и под ваткой расползалась тяжёлая холодная дуга.

За дверью мама старалась плакать тихо. Она думала, что через дверь я не слышал.

Ретиналамин мне кололи с двух до девяти лет. Были и витамины с черникой, потому что черника, вроде бы, для глаз полезна. Магниты держать заставляли положив их на веки в детской поликлинике, от них почему то жутко чесались брови. Очки с дырочками, купленные по телевизору за три тысячи: коробейник, как обозвала крикуна из рекламы бабуш-

ка, с экрана кричал «Прозрейте сегодня!», и мама заказала, а потом, надев их мне на нос, полчаса молчала и смотрела, как я ударился о косяк, пойдя в туалет. Святая вода из Дивеева. Её лили мне на лицо из пластиковой бутылки, и пахла эта святая вода пластиковой бутылкой. А одна знахарка под Сызранью катала по лбу мне яйцо и что-то хрипло бормотала. Яйцо потом разбила в стакан и сообщила маме, что на мне порча от свекрови. Мама заплатила ей пять тысяч и всю дорогу обратно смеялась. Смех был нехороший. Я спросил, что такое порча.

- Это твоя баба Зина, - сказала мама и опять засмеялась.

В областной больнице врач, пожилой, с табачным голосом, увидел, как я давлю на глаза, и сказал, что это называется симптом Франческетти. Была такая фамилия у швейцарца, он, правда, давно умер. Мне понравилось, что у моей привычки есть имя и что она, эта привычка есть и у других людей

Потом, много позже, я узнал, что надёжных доказательств пользы ретиналамина при наследственных дистрофиях сетчатки нет. Маме я этого не сказал. У неё до сих пор лежит в папке стопка аптечных чеков, сколотых скрепкой. Они тонкие и гладкие, и на них ничего нельзя прочитать пальцами. Под ними лежит договор займа под залог золотых серёжек. Серёжки мама так и не выкупила.

6. Катя

Когда мне было три с половиной, мамин живот стал твёрдым и круглым, как арбуз в августе. Внутри кто-то бил меня в ладонь. Тогда ещё никто не знал, что моя слепота рецессивная. Это означало, что у моей мамы одна сломанная копия гена, и у папы одна, и оба даже здоровы, и каждый их ребёнок с вероятностью один к четырём получает сломанные копии. Как монетку подкидывать у которой не две, а четыре стороны.

Я потом узнал, что это умеют даже в стадии эмбриона определять, когда от будущего человека есть всего несколько клеток, а в них уже записано, увидит он маму или нет. В 2012 году в Кряжиме об этом не слышал никто. Врачи сказали маме, что родить здорового ребенка случайность, но с высокой степенью возможного, а молния, мол, дважды не бьёт в одно место.

Катя родилась в феврале. На второй день мама позвонила из роддома бабушке Вале, у которой я жил, и бабушка поднесла трубку к моему уху. Мама громко то ли смеялась то ли плакала, я не мог разобрать, с присвистом на вдохе, и где-то рядом с ней даже кто-то сердито сказал «женщина, тут дети спят».

- Она жмурится! - кричала мама. - Мам, она от лампы жмурится! Она за фонариком глазами ведёт!

Я стоял в бабушкиной кухне на холодном линолеуме, в шерстяных носках, и слушал, как мама радуется тому, чего у меня не было никогда, нет и скорее всего не будет. В три с половиной года это трудно понять головой. Это я тогда понял через ступни, пол стал холоднее, чем был. Бабушка Валя повесила трубку, подняла меня под мышки и посадила на тёплую печь. Сунула в руки кусок теста.

- Мни. Мы из него твоей сестренке крендель сделаем.

Я мял до вечера. Тесто было тёплое, пахло дрожжами и липло к пальцам, пока не стало гладким, как мамина щека. Крендель вышел кривой. Бабушка сказала, что таких красивых сроду не видала. Я знал, что она врёт: на слове «видала» у неё дрогнул голос.

Через месяц я впервые потрогал Катю. Она была меньше Майкиного телёнка, от нее пахло молоком и чем-то кислым. Я нашёл её лицо и сунул палец ей в кулак. Кулак сжался. И силы там было столько, будто она собралась меня никуда не отпускать.

Катя, когда ей было четыре года, любила рассказывать мне мультики. Придумывала на ходу, путала героев, и у неё Винни-Пух женился на Белоснежке, а Пятачок был свидетелем.

В десять лет она сказала, что всё в этом доме все всегда было для меня, и деньги, и Москва, и мама. Сказала и убежала.

7. Жесть

Когда мне было пять, мы поехали к папиному деду в гараж, и там нас застал дождь. Гараж был железный. Дождь ударил сразу везде, и я впервые узнал, какой гараж размером. До этого он был запахом. Запахом бензина и погреба, пыли и машинного масла. А еще гараж был тёплым капотом «Жигулей» под ладонью. Теперь у него появились границы. Левый угол тёк, и в ведре затенькало. Над воротами лист был выгнут, и в том месте стучало ниже и гуще. Снаружи по лужам плюхало с другим звуком, и я услышал, где кончается лужа и начинается асфальт. Мир обрёл форму.

Я вышел на середину гаража и раскинул руки. Папа спросил, что со мной. А я не смог тогда объяснить. Сказал только:

- Тут всё есть.

Через месяц он привёз с завода четыре листа оцинкованной жести и сделал над нашим балконом на четвёртом этаже козырёк. Он делал его три вечера, и я сидел рядом на ящике, слушал, как ножницы по металлу кусают лист: хрусть, пауза, хрусть. Папа называл вещи мудрёно и с удовольствием, как врач: «фальц», «отлив», «карнизная планка». Слово «ендова» я долго считал именем собственным. Папа прикладывал мою ладонь к краю листа и говорил: «Осторожно. Режет». Лист действительно резал. Мне нравилось, что он давал мне все трогать, объяснял мне каждое свое действие, и даже про-

сил помочь и я держал что-то в руке и гордости моей в тот момент не было предела.

Соседи с пятого писали в управляющую компанию, потому что во время дождя сильно шумел наш козырек, и они не высыпались. Папа ходил к ним поговорить. Вернулся и больше соседи не писали.

- Край, короче, неправильно загнул, - сказал он маме, прикладывая к лицу мороженую курицу. - Зато отлив у нас получился прекрасный. Гремит, что будь здоров.

Курицу мы потом съели, и мама тогда сказала, что очень гордится им.

С тех пор, когда идёт дождь, я люблю выходить на балкон. Жесть над головой громкая и близкая, а за ней начинается двор. Крыши машин звенят по-разному: у «Лады» дяди Вовы тонко, как консервная банка, у соседского джипа глухо и дорого. Тополь у подъезда шелестит мягко, сверху вниз, и по шелесту я знаю, какой он высокий. Горка на детской площадке гудит. Когда дождь заканчивается, двор для меня исчезает по частям: сначала горка, потом машины, потом тополь, и последним наш балкон и его козырек, с которого ещё минут десять капает.

А вот снег я ненавижу. Снег всё глушит. Когда снег я слепну второй раз.

8. Доска с гвоздями

Зимой, когда мне было шесть, папа посадил меня за кухонный стол и положил передо мной доску. Доска была шершавая, недошкуренная и пахла сосной.. Из неё торчали шляпки гвоздей. Холодные, с острым заусенцем по краю.

- Щупай, короче. Вот, слева. Вот тут три штуки, тут одна. Потом опять три, опять одна. Чуешь?

Шляпки стояли так: две слева, одна над другой, одна справа вверху, и рядом ещё одна, одинокая. Тогда я не знал, что точки в брайлевской клетке нумеруются по столбикам: слева один-два-три сверху вниз, справа четыре-пять-шесть. Что «М» - это, например, один, три, четыре. Что «А» - одна точка в левом верхнем углу, самая простая буква на свете.

- Это написано слово «мама», - сказал папа.

Я водил пальцем туда-сюда и не мог понять. Мама была тёплая, пахла кремом. А тут гвозди.

Тогда папа положил свой палец поверх моего, провёл по строке ещё раз и на каждой букве говорил: «М. А. М. А». На подушечке его указательного была свежая ранка с рваным краем. Я чувствовал её своим ногтем.

Баба Зина потом рассказывала соседкам, что Генка по ночам сидел на балконе с книжкой из библиотеки и колотил, пальцы все отбил, дурак.

- С двух сторон набил, - добавляла она. - Дерево перевёл.

Ему говорят: Гена, да хватит одной стороны. А он: нет, мама, надо, чтоб запасная была. Какая запасная, для чего? Яблочко…

Доска до сих пор стоит на балконе за лыжами. Я не доставал её двенадцать лет.

Весной папа уехал в Москву на свои крыши. Сначала на сезон. Потом сезоны слились в одно большое навсегда. А позже мама отвезла меня в интернат.

Часть вторая

9. Коридор

Интернат для меня на всю жизнь запомнился запахом хлорки и молочной кашей и еще запахом мокрых варежек, сохнущих на батареи. Когда я вошёл туда впервые, мне было семь. Мама держала меня за руку так, что у меня слиплись пальцы. Я считал шаги. Сорок семь до лестницы, двадцать ступеней, тридцать один до спальни.

Коридор на втором этаже был очень длинный. Я понимал это по нашим шагам, звук от них гулко уходил вперёд и возвращался поздно, каким-то усталыми. Из конца коридора доносился гул холодильника, стоящего в медкабинете. По этому гудению я потом одиннадцать лет определял направление. У медкабинета был ещё и свои запахи, запахи зелёнки и нашатыря.

В спальне было шесть кроватей. Моя стояла у окна, и из-под рамы дуло в левое ухо. Мама застелила бельё, которое она принесла из дома, оно пахло нашим порошком. Объяснила, где тумбочка, где крючок для полотенца, где край кровати, и дважды сводила меня до туалета. Потом сказала, что сходит в магазин за соком.

Я тогда еще почувствовал, что она не вернётся. По тому

как она руку отнимала от моей головы, медленно. Сперва ладонь, потом пальцы по одному, как снимают пластырь, чтобы не рвать. Я не плакал. Сидел на кровати и слушал шаги по коридору. Тридцать один. Двадцать ступеней. Сорок семь. Дверь.

Когда шаги кончились, я надавил на глаза, и посыпались искры.

Через минуту меня ударили по рукам. Ладонь была сухая и от нее пахло вареным луком.

- Руки от глаз, - сказал низкий прокуренный женский голос. Выдавишь же. Пойдем в столовую провожу, отбой у нас в девять, подъём в семь, сопли в платок.

Это была Галина Петровна, ночная воспитательница. Двадцать два года в интернате, фамилии вместо имён, и голос, каким объявляют на вокзале, что поезд отправляется с другого пути. Весь первый год я её боялся. По субботам она стригла нам ногти, коротко, под самое мясо, и подпиливала пилкой, чтобы не было заусениц.

- У вас пальцы вместо глаз. Глаза надо держать в чистоте. Сомов, шевелимся, давай руку. Правую сначала.

И потом, не меняя голоса:

- Учитесь, пока вас учат. Кому вы там за забором нужны будете.

Если кто-нибудь плакал ночью, она иногда приходила и вкладывала в ладонь вареное яйцо. Пока чистишь, забыва-

ешь, про что плакал. И поешь заодно. Скорлупа сыпалась на одеяло, и вот за неё утром Галина Петровна могла и поругать.

10. Двенадцать точек капитана Барбье

Нина Аркадьевна ослепла в пять лет после кори. Она вела в интернате брайль уже сорок лет, и у неё были самые быстрые руки из тех, что я встречал после. Читая вслух, она бегло шуршала пальцами по бумаге, левая дочитывала строку, правая уже искала начало следующей, руки расходились и сходились без паузы, и голос ни разу не спотыкался на переносах.

Говорила она как диктант диктовала.

На первом уроке каждому досталась коробка из-под яиц на шесть гнёзд и по шесть грецких орехов.

- Два столбика, по три гнезда. Это клетка. Вся наша грамота, ребята, помещается в шесть гнезд. Положите орех в первое гнездо. Это «а». Добавьте второй, это «б». Петров, орехи не едят. Петров, я слышу.

Я уже знал «м» и «а» и сказал, что умею писать «мама». Она спросила откуда, и я рассказал про доску. Она некоторое время молчала. Потом сказала «хорошо, Сомов» и пошла к следующему ребёнку.

Писать было куда сложнее, чем читать. Есть такой прибор: две металлические пластины на петле, между ними лист плотной бумаги. В верхней прорезаны окошки, в нижней под

каждым окошком шесть ямок. И грифель: деревянный грибок со стальным тупым шилом. Шило вдавливает бумагу в ямку, и на обратной стороне встаёт бугорок. Поэтому пишешь справа налево и в зеркале, а читаешь, перевернув лист. Первые два месяца у меня получалась каша. Голова уже, вроде бы, понимала правила, но рука все время тыкала не туда.

Нина Аркадьевна ходила между партами и по звуку грифеля могла определить, кто правильно делает, а кто нет. Хороший грифель стучит ровно: тк-тк-тк, пауза, тк. У того, кто сомневается, стук длинный и тихий, будто человек откашливается в кулак.

В ноябре она раздала нам монеты. Кому две, кому три.

- Кто сможет точно сказать сколько у вас рублей?

Петров сказал «пять», получил по носу невидимой линейкой, то есть голосом, и признал, что «десять». Остальные почти все справились, ведь у каждой монеты свой край, свой вес, своя температура в ладони. Нина Аркадьевна вернула кошелёк в сумку, щёлкнула замком.

- В тысяча семьсот восемьдесят четвёртом году один француз подал на паперти монету слепому мальчику. Мальчик на ощупь назвал, сколько это. Француза звали Валентин Гаюи, мальчика Франсуа Лезюер. Мальчик стал первым в мире слепым учеником.

- А до этого слепые что делали? - спросил Семен.

- Пели на паперти, - съязвил Петров, и все заржали.

Она подождала. пока классе снова стало тихо.

- А тринадцатью годами раньше, в семьдесят первом, Гаюи пошёл на ярмарку Сен-Овид. Там хозяин кафе посадил десять слепых из приюта в бумажных колпаках, их тогда называли ослиными, дал им скрипки и велел играть. Публика хохотала. Петров, подойди.

Петров подошёл. Она зашуршала бумагой и было слышно как она надела ему на голову что-то. Класс молчал. Нина Аркадьевна сказала:

- Смешно? А вот публике зрячей, и им было смешно. Гаюи не смеялся.

- Никогда не позволяйте смеяться над собой. Поняли? Никогда! И жалеть вас никогда не позволяйте тоже. Запомните. Вы не жалкие!

Петров снял колпак.

- Гаюи сделал выпуклые буквы, - продолжила она, - большие, как у нас на вывесках. Читать их было можно, но проблема в том, что очень медленно, пока дойдёшь до конца слова, забудешь начало. Писать тоже пока нельзя было. А вот азбука с точками пришли с другой стороны. От военного.

В тот день она принесла лист, на котором точек было больше, чем надо. Я положил палец и не нашёл края буквы. Точки стояли столбиками по шесть в длину, и подушечка накрывала только половину. Пока вёл вниз, верх забывался.

- Это ночное письмо. Его придумал капитан-артиллерист Барбье, чтобы солдаты читали приказ в окопе без света: зажжёшь свечу, и враг стреляет. Солдаты не справились. Не

смогли, как ты сейчас. Тогда капитан пришёл в парижскую школу для слепых, к ребятам. Один мальчик, Луи, ему было двенадцать, справился. Отец Луи делал сёдла. В три года Луи играл у него в мастерской и попал себе в глаз шилом. Таким, как у нас грифель, только острым.

Петров перестал хрустеть орехом.

- В пятнадцать Луи выкинул из капитанского письма половину точек и сделал клетку под палец.

- И все стали по нему читать? - спросил Петров с задней парты.

- Нет. Точнее не сразу. Директор школы тогда запретил все эти точки. Зрячим учителям не нравилось идея учить еще одну азбуку, считая, что незрячим все равно ни к чему читать, а тем более писать. Сам же Брайль умер молодым, в сорок три. Через сто лет его останки перезахоронили в Париже, на кладбище, где лежат великие люди Франции. А жители его деревни Кувре попросили оставить у них кости его рук. Они лежат там до сих пор, представляете, отдельно, в урне, и она понизила голос, как если бы рассказывала страшилку. - Буквы у каждого народа свои, продолжала Нина Аркадьевна ещё, а шесть точек одни на всех. - Сомов, не дави сильно на точки. Ты читаешь так, будто давишь клопов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.